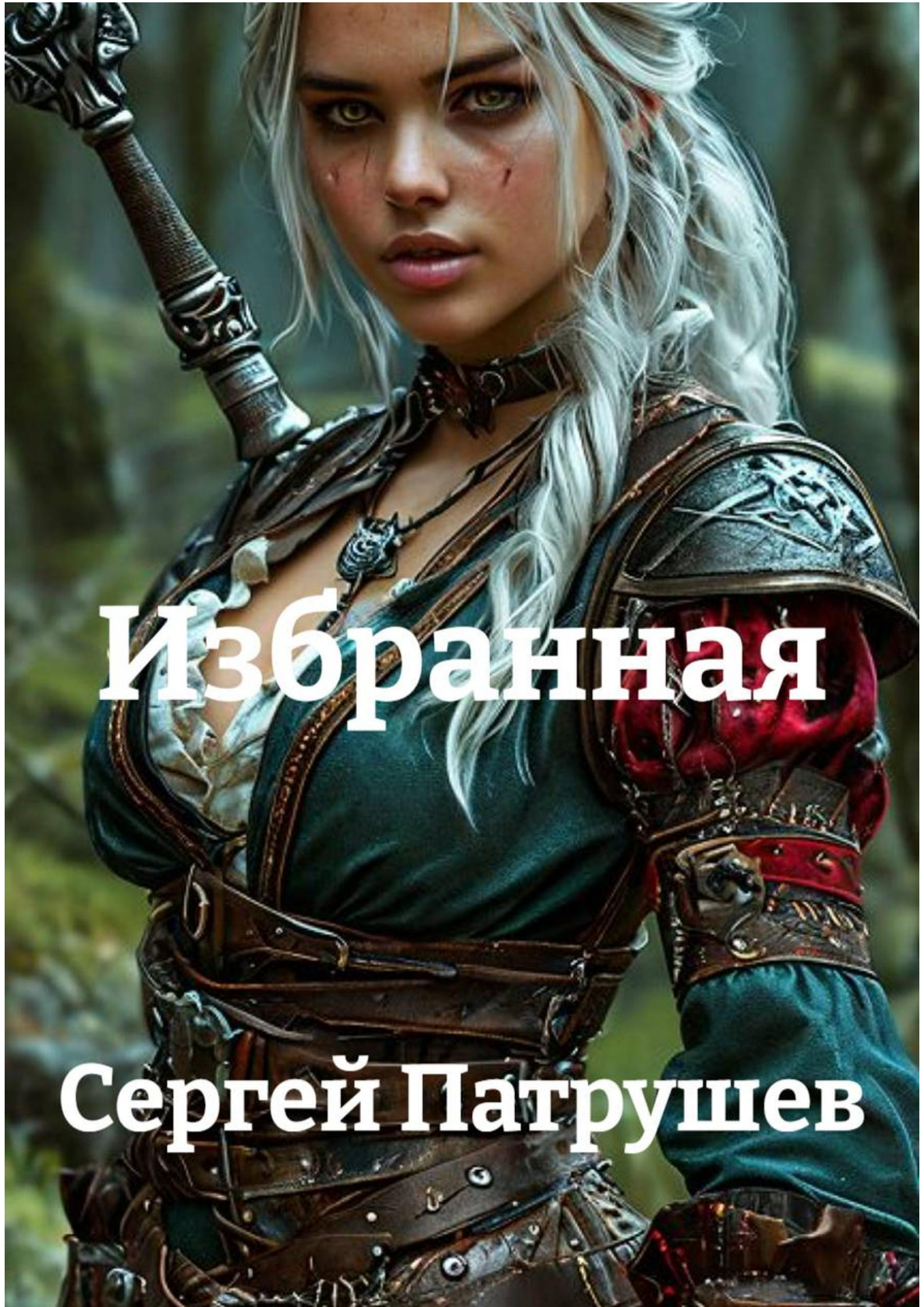




**Избранная**

**Сергей Патрушев**

Сергей Патрушев

**Избранная**

«Автор»

2026

## **Патрушев С.**

Избранная / С. Патрушев — «Автор», 2026

Шестнадцатилетняя Айрин сирота с аномально белыми волосами и даром, который пугает даже её наставников. Воспитанная в суровом ордене Серых Ястребов, она становится идеальным оружием: хладнокровным, послушным, смертоносным. Когда шрам на её ладони начинает пульсировать, а тени шепчут её имя, привычный мир рушится. Орден отправляет Айрин на задание, которое должно стать последним, проникнуть на бал во враждебное королевство и украсть военные карты. Вместо этого она узнаёт правду: её белые волосы — не мутация, а признак Вестника, существа, способного черпать магию из самого хаоса. За ней охотятся короли, маги и древние сущности, а те, кого она считала семьёй, готовы принести её в жертву. Теперь Айрин должна решить, кем стать: пешкой в чужой игре или силой, способной уничтожить мир — или спасти его.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Глава 1: Клинок и Пепел           | 5  |
| Г                                 | 19 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 20 |

# Сергей Патрушев

## Избранная

### Глава 1: Клинок и Пепел

Ветер с севера, холодный и неумолимый, словно дыхание самой смерти, приносил с собой не только запах пепла и мокрой, пропитанной кровью земли, но и едва уловимый, тошнотворный аромат горелого мяса, который вплетался в общую симфонию разрушения, создавая ту неповторимую, удушливую вонь, что навсегда остается в памяти тех, кому довелось пережить подобное, и этот тяжелый, всепроникающий запах въедался в грубую, задубевшую от походной жизни ткань одежды, проникал в каждую пору кожи, отравлял само дыхание, словно сама измученная, истерзанная земля пыталась навсегда запечатлеть в памяти тех, кто остался жив, весь ужас произошедшего здесь, весь кошмар, разыгравшийся на этом месте.

Айрин стояла на краю разоренной дотла деревни, неподвижная, как изваяние, как призрак, восставший из пепла, и глядела, как догорает последний уцелевший амбар, последнее напоминание о том, что здесь когда-то кипела жизнь, что здесь жили люди, растили детей, возделывали землю, и языки пламени, оранжевые, красные, почти белые в своей сердцевине, жадно лизали почерневшие, обугленные бревна, выбрасывая в низкое, тяжелое, затянутое бесконечными тучами небо снопы искр, которые, поднимаясь вверх, кружась в безумном танце, растворялись в бесконечной серой пелене, и казалось, что само небо вот-вот прохудится от этого невыносимого жара, от этой бесконечной агонии дерева и плоти, от этого всепожирающего огня, который, казалось, готов был пожрать весь мир.

Деревня, раскинувшаяся у подножия невысокого, поросшего вереском холма, называлась Ясеновый Лог, и теперь, глядя на то, что от нее осталось, Айрин понимала, что это название звучало горькой, болезненной, издевательской насмешкой, потому что от знаменитых на всю округу ясеней, что когда-то окружали поселение плотным, надежным кольцом и давали ему имя, не осталось ровным счетом ничего, кроме обугленных, почерневших остовов, похожих на скрюченные, скрючившиеся в предсмертной агонии пальцы мертвецов, тянущиеся к равнодушному, безучастному небу в безмолвной мольбе о пощаде, которая так и не пришла, а от домов, в которых еще вчера жили люди, смеялись дети, горели очаги и пахло свежеспеченным хлебом, не осталось ничего, кроме груд дымящихся, тлеющих головешек и холодного, серого, вездесущего пепла, устилающего землю, как погребальный саван, как последнее одеяние мертвого мира.

Айрин осторожно, стараясь не производить лишнего шума, хотя в этом уже не было никакой необходимости, переступила через опрокинутую, разбитую в щепки телегу, лежащую поперек дороги, и под ее походным сапогом из грубой, потемневшей от времени и непогоды кожи хрустнула обгоревшая ветка, рассыпавшись в мельчайшую пыль, которая тут же поднялась в воздух, закружилась, затанцевала и смешалась с пеплом, лениво кружащимся в каком-то потустороннем, заволаговывающем танце над мертвой, оскверненной землей, и этот танец был похож на насмешку, на издевательство, на пляску смерти, которая пришла сюда и собрала свою жатву.

Вокруг не было ни единой живой души — только мертвые, лежащие в тех позах, в которых застала их смерть, с искаженными от ужаса или боли лицами, с раскинутыми в стороны руками, с остекленевшими, устремленными в небо глазами, и те, кто очень скоро должен был к ним присоединиться, хотя сами они еще не знали об этом, продолжая свой кровавый, бессмысленный пир среди руин, празднуя легкую победу над беззащитными, над теми, кто не мог дать им отпора. Мародеры пришли с востока, как саранча приходит на созревшее, готовое к жатве поле, как чума приходит в перенаселенный, ничего не подозревающий город, как всегда приходит беда — внезапно, беспощадно и без всякого предупреждения, обрушиваясь на головы тех, кто меньше всего этого ожидал, и они не щадили никого: ни седых, сторбленных стариков, чьи слабые, дрожащие руки уже не могли держать оружие, ни женщин, пытавшихся спрятать детей, заслонить их собой, укрыть от неминуемой гибели, ни самих детей, чьи пронзительные крики обрывались слишком быстро, слишком страшно, слишком несправедливо, ни домашнюю скотину, которую нельзя было увести с собой и которую они убивали просто так, из жестокости, из желания уничтожить все живое.

Они оставляли после себя только пепел и кровь, только разорванную, изуродованную плоть и сломанные, раздробленные кости, только гнетущую, давящую тишину, которая была страшнее любого крика, страшнее любого стога, страшнее любого проклятия, и Ясневый Лог стал очередной кровавой отметиной на их бесконечной, бесчисленной карте насилия, очередным свидетельством их безнаказанности, очередной строкой в длинном списке их злодеяний.

Айрин знала, что они все еще здесь, чувствовала их присутствие по едва уловимому, почти незаметному дрожанию воздуха, по тому особому, ни с чем не сравнимому напряжению, которое всегда возникает там, где собираются вместе люди с нечистой совестью и запятнанными кровью руками, по запаху дешевого, прокисшего вина и давно немытых тел, доносившемуся со стороны постоянного двора, единственного каменного здания в деревне, которое каким-то чудом устояло перед огнем, хотя и его стены были опалены, покрыты копотью и испещрены следами от ударов. Они пировали среди руин, как вороны пируют на падали, как шакалы пируют на останках лвиной добычи, праздновали свою легкую и безнаказанную победу над беззащитными людьми, над теми, кто не мог им противостоять. Легкую — потому что деревня не ждала нападения, не выставила дозорных, не укрепила стены, не подготовилась к обороне, доверившись ложному, обманчивому чувству безопасности, которое так часто подводит тех, кто живет на границе, на самом краю цивилизованного мира. Легкую — потому что здесь не было воинов, способных дать отпор, не было тех, кто мог бы встать на защиту, только крестьяне, женщины, дети и старики, чьи натруженные, мозолистые руки привыкли держать плуг, а не меч, привыкли возделывать землю, а не убивать.

Но теперь здесь была она, и это меняло все, меняло расстановку сил, меняло саму природу происходящего, превращая триумф в расплату, а охотников — в добычу.

Айрин медленно, размеренным, уверенным шагом двинулась по главной улице, которая когда-то была оживленной и шумной, полной жизни, смеха, разговоров, а теперь представляла собой пустынный, мрачный коридор между обугленными остовами домов, и пепел кружился вокруг нее, оседая на белоснежных, неестественно белых волосах, которые резко, вызывая контрастировали с серой, мрачной, унылой картиной разрушения, делая ее похожей на призрака, на духа возмездия, сошедшего с небес, чтобы покарать виновных, чтобы вершить правосудие там, где его не было. Она не пряталась, не кралась вдоль стен, не искала укрытий, не пыталась остаться незамеченной, потому что в этом не было никакой необходимости, потому что она хотела, чтобы ее увидели, хотела, чтобы они знали, хотела, чтобы они поняли. Пусть

видят, как она идет к ним. Пусть знают, что смерть пришла и за ними, и пусть это знание, это осознание неизбежности станет их последней, самой страшной мыслью, их последним, самым мучительным переживанием.

Из-за покосившегося, почерневшего от копоти деревянного забора, каким-то чудом устоявшего перед огнем, донесся пьяный, раскатистый, грубый смех, который оборвался на полуслове, словно кто-то перерезал ему горло, когда один из мародеров, здоровенный, грузный мужчина с грязным, перепачканным сажей и запекшейся кровью лицом и свалявшейся, всклокоченной бородой, заметил ее приближение и замер, не веря своим глазам. Он медленно, неуклюже выпрямился, вытирая рот тыльной стороной грязной ладони, и уставился на девушку с тем особым тупым, бессмысленным недоумением, которое свойственно людям, чей разум затуманен алкоголем и ощущением полной, абсолютной безнаказанности. Она была одна, совсем одна, и это казалось ему странным, неправильным, нелогичным, потому что женщина, идущая в одиночку через разоренную, вымершую деревню, была либо безумна, либо не понимала, что здесь произошло, либо не боялась, и последний вариант был настолько неправдоподобным, настолько невероятным, что он отбросил его как невозможный, как абсурдный, как противоречащий всему его жизненному опыту.

Маленькая, хрупкая, почти миниатюрная, с волосами цвета первого снега и глазами цвета зимнего неба перед бурей, она не была похожа на воина, не была похожа на того, кто мог бы представлять угрозу, — скорее на бродяжку, случайно забредшую в этот ад, на потерявшуюся, обезумевшую девочку, чья судьба теперь была предрешена, чья участь была решена в тот самый момент, когда она ступила на эту проклятую землю.

— Эй, красавица, — хрипло, с пьяной развязностью крикнул он, и его приятели, сидевшие вокруг импровизированного, неровного костра, разведенного прямо посреди улицы, обернулись, чтобы посмотреть на неожиданную, незваную гостью, — иди к нам, погреемся, у нас еще вино осталось, и огонь теплый, и компания веселая, не пожалеешь!

Айрин не остановилась, не замедлила шаг, не подала никакого знака, что слышала его слова, не повернула головы, не изменила выражения лица, и продолжала идти прямо к ним, и ее шаги были легкими, почти бесшумными, словно она ступала не по грязи, пеплу и обломкам, а по утренней росе, по мягкой траве, по облакам, словно она была не человеком из плоти и крови, а бесплотным духом, скользящим над землей. Мародеры переглянулись между собой, и в их взглядах мелькнуло первое смутное, едва осознанное беспокойство, первая искра тревоги, потому что что-то в этой девушке было неправильно, что-то выбивалось из привычной картины мира, где жертвы кричат, плачут, умоляют о пощаде, пытаются бежать, где они не идут навстречу своим мучителям с таким спокойным, ледяным, пугающим безразличием.

Из дверей полуразрушенного постоянного двора, единственного здания, сохранившего хоть какую-то целостность, вышел шестой — здоровенный, огромный детина с массивным боевым топором на плече, явно их вожак, судя по тому, как почтительно, подобострастно расступились перед ним остальные, судя по тому, как он держался, судя по той властной, хозяйственной манере, с которой он оглядел девушку с головы до ног, а потом сплюнул густую, темную, тягучую слюну прямо под ноги, словно выказывая свое презрение.

— Ты кто такая? — спросил он, и в его голосе, грубом, прокуренном, пропитанном алкоголем, прозвучало нечто среднее между насмешкой и подозрением, между желанием поиздеваться, унижить, растоптать и инстинктивным, животным чувством опасности, которое

свойственно даже самым тупым, самым примитивным существам, когда они чувствуют приближение хищника, когда они ощущают, что сами стали добычей.

Айрин остановилась ровно в десяти шагах от них, и ветер, словно повинувшись ее безмолвному, невысказанному приказу, шевельнул ее белые, светящиеся в сумерках волосы, и на мгновение, на одно короткое, но отчетливое мгновение показалось, что они светятся в наступающих сумерках, излучают собственный, потусторонний свет, хотя солнце давно спряталось за плотной, непроницаемой пеленой облаков, погрузив мир в преждевременные, серые, безрадостные сумерки. Она стояла неподвижно, как статуя, как изваяние, высеченное из льда, как памятник самой себе, и ее глаза, холодные, пустые, лишённые каких-либо эмоций, смотрели сквозь них, словно они уже были мертвы, словно их судьба была решена в тот самый момент, когда она ступила на пепелище этой деревни, словно они были не живыми людьми, а лишь тенями, призраками, воспоминаниями о самих себе.

— Ваша смерть, — ответила она, и ее голос, тихий, ровный, спокойный, прозвучал без всяких эмоций, без угрозы, без пафоса, без драматизма, просто констатация факта, просто утверждение того, что должно было вскоре стать реальностью, просто произнесение приговора, который уже не подлежал обжалованию.

Вожак расхохотался, запрокинув голову назад, широко, неестественно разинув рот, и его люди, словно по команде, подхватили этот смех, этот грубый, лающий, лишённый искреннего веселья смех, но в их смехе уже прозвучала нервная, дребезжащая, едва уловимая нотка, которую невозможно было скрыть, как невозможно было скрыть дрожь в руках и бегающие, испуганные глаза, которые выдавали их с головой. Что-то было не так, что-то было глубоко, фундаментально неправильно в этой девушке, в ее спокойствии, в ее пустых, ничего не выражающих глазах, в том, как она смотрела на них — не как на людей, не как на врагов, не как на угрозу, а как на предметы, которые нужно убрать с дороги, как на мусор, который нужно смести, как на грязь, которую нужно смыть, как на нечто, не заслуживающее даже ненависти.

— Смелая, — отсмеявшись, вытирая выступившие от смеха слезы грязным, засаленным рукавом, сказал вождь, и в его голосе прозвучало нечто, похожее на уважение, смешанное с предвкушением, — люблю смелых, с ними веселее, они дольше кричат, когда понимают, что происходит, они дольше сопротивляются, дольше цепляются за жизнь. Может, оставим ее себе? Позабавимся немного, а потом решим, что с ней делать, как с ней поступить, какую смерть ей подарить.

Первый мародер, тот самый, что заметил ее первым, сделал неуверенный, колеблющийся шаг вперед, и в его руке, грязной, покрытой шрамами и ссадинами, блеснул длинный, устрашающего вида нож с зазубренным, неровным лезвием, на котором еще виднелась засохшая, потемневшая кровь прежних жертв, тех, кому не посчастливилось встретиться с ним раньше. Он ухмылялся, предвкушая легкую добычу, предвкушая то, что последует за этим, предвкушая насилие, кровь, крики, и не видел того, что видела Айрин: слабые точки на его теле, линии движения, по которым он будет атаковать, места, куда нужно ударить, чтобы причинить максимальную боль при минимальных усилиях, чтобы убить быстро, эффективно, без лишних движений. Она видела это всегда, с самого детства, с тех пор как наставники в ордене впервые вложили ей в руки деревянный тренировочный меч, а потом, когда она выросла, когда окрепла, когда доказала свою состоятельность, настоящий, боевой, выкованный из лучшей стали. Мир для нее с самого раннего возраста, с тех пор, как она начала осознавать себя, делился не на людей и предметы, не на друзей и врагов, не на хороших и плохих, а на цели и препятствия, на

то, что нужно поразить, и то, что можно использовать для достижения этого, и это восприятие мира делало ее идеальным воином, идеальным оружием, идеальным инструментом в руках тех, кто ею управлял.

Мародер бросился на нее с неожиданной для такого крупного, грузного человека скоростью, и его нож, сверкнув в тусклом свете угасающего дня, рассек воздух, целясь ей прямо в горло, в ту самую точку, где пульсирует сонная артерия, но Айрин не двинулась с места, не дрогнула, не моргнула, не отступила ни на шаг. В самый последний момент, когда холодное, острое лезвие уже почти коснулось ее обнаженной кожи, она сделала неуволимое, текучее, грациозное движение — просто качнулась в сторону, словно тростник под порывом ветра, словно ива, склоняющаяся над водой, и нож прошел в каком-то дюйме от ее щеки, даже не задев белоснежных волос, даже не потревожив воздуха у ее лица. Ее левая рука, тонкая, изящная, взметнулась вверх с быстротой молнии, и с кончиков пальцев сорвалась серебристая, светящаяся нить чистой, концентрированной энергии, которая обвилась вокруг запястья нападавшего, как змея, как живая, разумная тварь, и резкий, безжалостный, неумолимый рывок отбросил тяжелого мужчину через всю улицу, прямо в обугленную, почерневшую стену ближайшего разрушенного дома. Раздался отвратительный, влажный, тошнотворный хруст ломающихся костей, и мародер сполз по почерневшим, обгоревшим бревнам вниз, оставляя за собой темный, блестящий след, и затих, неестественно, жутко вывернув шею под невозможным углом.

Остальные отшатнулись, кто-то выругался сквозь зубы, кто-то схватился за оружие, висевшее на поясе, кто-то сделал произвольный, инстинктивный шаг назад, словно пытаясь увеличить расстояние между собой и этой беловолосой девой, этой ведьмой, этой посланницей смерти, которая только что одним движением, одним легким, почти незаметным жестом убила их товарища, убила человека, которого они считали сильным, опасным, почти непобедимым. Вожак перестал улыбаться, и его лицо, еще мгновение назад выражавшее самодовольство и презрение, исказилось гримасой злобы и страха, смешанных в равных пропорциях, гримасой человека, который вдруг осознал, что его жертва оказалась хищником.

— Магичка, — прошипел он, словно это слово было ругательством, словно оно объясняло все, словно оно давало ему право на ненависть и оправдывало то, что должно было последовать, — убейте ее, быстро, все разом, пока она не наколдовала еще что-нибудь, пока она не призвала свои демонов, пока она не уничтожила нас всех!

Они бросились все разом, всей оставшейся сворой, надеясь задавить ее числом, надеясь, что хотя бы один из них сможет достать ее, пока она будет занята остальными, надеясь, что их коллективная ярость преодолееет ее одиночную силу, но Айрин ждала именно этого, ждала, когда они соберутся в одну кучу, когда их движения станут предсказуемыми, когда их страх превратится в отчаянную, безумную, лишенную всякой тактики и расчета атаку, когда они потеряют остатки разума и превратятся в стадо обезумевших животных. В ее правой руке словно из ниоткуда, словно из воздуха, словно из самой сущности ее магии появился клинок — изящный, чуть изогнутый, с гардой в виде переплетенных серебряных листьев, с лезвием, которое, казалось, было выковано не из стали, а из самого лунного света, из самой сущности ее магии, из той неведомой, непостижимой силы, что текла в ее жилах. Он не был создан кузнецом, не был закален в огне и воде, не был обработан молотом и наковальней, он был рожден из ее воли, из ее внутренней силы, из той странной, непостижимой энергии, что текла в ее жилах вместе с кровью, вместе с жизнью, вместе с самой ее сущностью. В ордене такие клинки называли «лезвиями духа», и они были острее любой стали, прочнее любого металла и смер-

тоноснее любого оружия, созданного руками человека, потому что они были продолжением воли их создателя, продолжением его души, продолжением его намерения убить.

Первый удар она парировала, не глядя, повинувшись скорее инстинкту, чем расчету, скорее врожденному чутью, чем приобретенному навыку, и ее клинок певуче, мелодично зазвенел, отбрасывая в сторону атакующего мародера, чей меч, выкованный из простого, дешевого железа, не мог сравниться с оружием, созданным магией, с оружием, рожденным из чистой энергии. Второй мародер, здоровенный, бородатый, с безумными, налитыми кровью глазами, замахнулся тяжелым боевым топором, целясь ей прямо в голову, надеясь раскроить ей череп одним ударом, но Айрин уже была за его спиной — она двигалась так быстро, что человеческий глаз не успевал уследить за ее перемещениями, словно она была тенью, словно она была ветром, словно она была везде и нигде одновременно, словно она существовала в нескольких местах сразу. Ее меч описал короткую, экономную, идеально выверенную дугу, и мужчина упал, зажимая распоротый бок руками, из которого хлестала горячая, алая кровь, заливая его одежду, его руки, землю под ним, образуя быстро растущую темную лужу. Третий попытался обойти ее с фланга, надеясь застать врасплох, надеясь ударить сзади, надеясь на то, что она не заметит его маневра, но споткнулся о собственную тень, когда земля под его ногами внезапно вздыбилась, повинувшись безмолвному, мысленному приказу Айрин, и острый, неровный каменный выступ, выросший из-под земли, как клык неведомого чудовища, ударил его в грудь с такой силой, что отбросил назад, выбив из легких весь воздух и, вероятно, сломав несколько ребер, а возможно, и повредив внутренние органы.

Айрин дралась, как танцуют — если танец может убивать, если каждое движение танцора несет смерть, если грация и смертоносность сливаются в единое целое, неразделимое и прекрасное в своей жестокости, в своей неумолимости, в своей совершенной, отточенной годами тренировок эффективности. Каждое ее движение было выверенным, экономным, точным до миллиметра, и она не тратила силы впустую, не делала лишних шагов, не позволяла эмоциям взять верх над разумом, не поддавалась ни гневу, ни страху, ни азарту боя. Ее магия и меч работали вместе, дополняя друг друга, усиливая друг друга, создавая смертоносный симбиоз: левая рука плела заклинания, создавая серебристые нити энергии, которые хлестали воздух, сбивая врагов с ног, ослепляя их, связывая, лишая способности двигаться, в то время как правая рука наносила точные, смертоносные удары, довершая начатое левой, завершая то, что было начато магией. Это был идеальный симбиоз, тот самый, которому ее учили долгие годы, тот самый, который она довела до совершенства, до автоматизма, до уровня инстинкта, до такого уровня, когда тело действует быстрее мысли, быстрее сознания, быстрее любого рационального решения.

Вожак с топором оказался последним, оставшимся в живых, и он стоял над телами своих людей, тяжело, прерывисто дыша, с безумным, непонимающим выражением лица, на котором смешались ужас, неверие и отчаянная, безнадежная решимость обреченного, решимость человека, который знает, что умрет, но отказывается сдаваться. Его руки, сжимавшие рукоять топора, дрожали, а по лицу, изборожденному морщинами и шрамами, стекали струйки пота, смешанные с кровью, брызнувшей из ран его товарищей, создавая причудливые, жуткие узоры на его коже. Айрин подошла к нему медленно, не сводя с него своего ледяного, пронизывающего, парализующего взгляда, и ее белые волосы были забрызганы кровью — чужой, не ее, потому что ни один из мародеров так и не смог даже коснуться ее, даже задеть ее, даже приблизиться к ней на расстояние удара.

— Кто тебя послал? — спросила она негромко, и ее голос прозвучал в наступившей, оглушительной, звенящей тишине, как удар колокола, как приговор, как последний вопрос, на который должен ответить умирающий, на который он обязан ответить, если хочет умереть быстро, если хочет избежать лишних страданий.

Вожак сглотнул, и его кадык, острый, выступающий, дернулся, словно он пытался проглотить комок страха, застрявший в горле, застрявший где-то между сердцем и голосовыми связками, мешавший ему говорить, мешавший ему дышать. Его рука, сжимавшая топор, дрожала все сильнее, все заметнее, и он перехватил рукоять обеими руками, пытаясь унять эту дрожь, пытаясь вернуть себе контроль над собственным телом, но безуспешно, потому что страх уже поселился в нем, уже пустил корни, уже парализовал его волю.

— Никто, — выдавил он хриплым, срывающимся, едва слышным голосом, — мы сами по себе, мы просто наемники, мы никому не служим, клянусь тебе, мы просто... мы просто хотели пожить, вот и все, мы не знали, что здесь будет кто-то вроде тебя...

— Наемники не жгут деревни дотла, не оставив никого в живых, — перебила его Айрин, и в ее голосе не было ни гнева, ни осуждения, ни праведного негодования, только холодная, безжалостная, неумолимая логика, — вы не просто грабили, вы убивали всех, вы не брали пленных, вы не оставляли свидетелей, вы действовали так, словно выполняли чей-то приказ, словно следовали чьей-то воле, словно были не самостоятельными грабителями, а орудием в чьих-то руках. Зачем вы это делали? Какой был приказ? Кто его отдал?

Он не ответил, потому что знал, что любой ответ станет признанием, а признание не спасет его, лишь подтвердит то, что он уже и так знал, лишь ускорит неизбежное, лишь сделает его гибель еще более унижительной. Вместо этого он бросился на нее с отчаянным, животным, леденящим кровь ревом, замахнувшись топором для последнего, самоубийственного удара, вложив в него всю свою оставшуюся силу, всю свою ненависть, весь свой страх, всю свою злость на эту девчонку, которая разрушила все. Айрин отступила на полшага, ровно настолько, чтобы пропустить лезвие мимо, ровно настолько, чтобы топор рассек воздух в опасной близости от ее лица, и ее собственный клинок, верный, послушный, созданный из чистой магии, вошел точно в сердце — быстро, чисто, без боли, как она умела, как ее учили, как требовал кодекс ордена. Вожак захрипел, выронил топор из ослабевших, разжавшихся пальцев и рухнул на колени, а потом лицом вниз в холодный, серый, вездесущий пепел, который принял его тело, как принимает земля падающий лист, как принимает море упавшую каплю дождя.

Айрин вытерла клинок о его одежду, медленно и тщательно, как делала это всегда после боя, как требовала дисциплина, как требовал порядок, как требовало уважение к оружию, даже если это оружие было создано магией и не нуждалось в чистке. Она огляделась вокруг, оценивая результаты своей работы, подсчитывая потери, проверяя, не осталось ли кого-то в живых, не спрятался ли кто-то в руинах, не затаился ли раненый. Все было кончено, все шесть мародеров лежали на земле в разных позах, в разных местах, с разными ранами, и тишина снова накрыла деревню, но теперь это была тишина смерти, а не затаенной угрозы, тишина завершения, а не ожидания, тишина покоя, а не напряжения. Она постояла несколько мгновений, прислушиваясь к своим ощущениям, проверяя себя, как проверяет оружие воин перед следующим боем, как проверяет инструмент мастер перед новой работой. Пульс ровный, дыхание спокойное, сердце бьется тихо и размеренно, как метроном, отсчитывающий секунды чужой, только что оборвавшейся жизни. Ни сожаления, ни торжества, ни удовлетворения, ни разочарования — только пустота, глубокая, всепоглощающая, знакомая до боли пустота, к которой

она давно привыкла, с которой она сжилась, которая стала частью ее самой, такой же неотъемлемой, как магия, как белые волосы, как шрам на ладони.

Она закрыла глаза и позволила клинку раствориться, растаять в воздухе, вернуться в то небытие, из которого он был рожден, вернуться в ту пустоту, откуда она его призвала. Клинок исчез, оставив после себя лишь легкое серебристое сияние, которое быстро погасло, рассеялось, растворилось, как утренний туман под лучами солнца, как сон при пробуждении. Магия внутри нее утихла, свернулась клубком, затаилась, успокоилась, готовая пробудиться в любой момент, когда это потребуется, готовая вырваться наружу по первому зову. Так было всегда, сколько она себя помнила, столько, сколько она осознавала себя существом, обладающим этой силой. Магия была частью ее — такой же неотъемлемой, как дыхание, как биение сердца, как ток крови по венам, как мысли в голове. Но она также помнила, помнила очень хорошо, помнила по урокам наставников, что магия может быть проклятием, что дар может обернуться наказанием, что сила, которой она обладала, была не только благословением, но и бременем, тяжелым, изнурительным бременем, которое ей предстояло нести всю жизнь, до самой смерти.

Айрин обошла деревню в поисках выживших, хотя в глубине души, в том самом уголке, где еще теплилась надежда, уже знала, что не найдет никого, что ее поиски обречены на провал. Их не было, потому что мародеры сделали свою работу на совесть, не пощадили никого, не оставили ни одной живой души, которая могла бы рассказать о том, что здесь произошло, которая могла бы свидетельствовать, которая могла бы оплакать мертвых. В одном из полуразрушенных домов, где огонь не успел уничтожить все, она нашла женщину, прижимавшую к груди мертвого младенца, и их лица были спокойны, умиротворены, словно смерть пришла к ним во сне, словно они просто уснули и не проснулись, словно они избежали страданий, которые выпали на долю других. В другом — старика, упавшего с вилами в руках, и его лицо было искажено яростью, а не страхом, что говорило о том, что он хотя бы пытался сопротивляться, пытался защитить свой дом и свою семью, пытался умереть достойно, пусть и безуспешно. Остальные, видимо, даже не успели понять, что произошло, что за беда обрушилась на их головы, что за звери ворвались в их мирную, размеренную жизнь, что за кошмар наяву поглотил их всех.

Она остановилась на краю деревни, у старого каменного колодца, который каким-то чудом уцелел среди всеобщего разрушения, среди этого хаоса из огня, крови и пепла. Вода в нем была замутнена золой и кровью, но Айрин все равно зачерпнула ладонью и выпила — горькую, пахнущую гарью и смертью, пахнущую концом всего. Ей было все равно, потому что вода есть вода, и тело требует свое, независимо от того, что чувствует душа, независимо от того, что творится в сердце. Она выпила еще, умыла лицо, смывая с кожи пепел и чужую кровь, смывая следы боя, смывая напоминания о том, что она сделала, и почувствовала, как холодная влага немного проясняет мысли, отгоняет усталость, которая начинала накапливаться в мышцах, в костях, в самой глубине ее существа.

В потайном кармане ее плаща, зашитом с внутренней стороны, надежно скрытом от посторонних глаз, лежал небольшой кристалл-передатчик, заряженный магией и настроенный на связь с крепостью, на связь с командованием, на связь с теми, кто отдавал ей приказы. Она достала его, сжала в кулаке, чувствуя его прохладную, гладкую поверхность, и сосредоточилась, направляя тонкий ручеек энергии в камень, пробуждая его к жизни. Кристалл потеплел, запульсировал в ладони, отзываясь на ее прикосновение, и через несколько мгновений в ее сознании прозвучал голос — сухой, бесстрастный, лишенный каких-либо эмоций, принадле-

жащий дежурному офицеру крепости, который, вероятно, сидел сейчас в своей башне, окруженный картами и донесениями, следя за обстановкой на границе.

— Докладывай, — прозвучало в ее голове, и это было не звук, а скорее мысль, переданная на расстояние, четкая и ясная, как будто говоривший стоял рядом, как будто он был в ее собственной голове.

— Задание выполнено, — так же сухо и безэмоционально ответила Айрин, — мародеры уничтожены в полном составе, шесть человек, выживших нет, сопротивление оказано минимальное. Деревня Ясеновый Лог полностью разрушена, гражданское население уничтожено до моего прибытия, спасать было некого, выживших не обнаружено.

— Принято, — ответил голос после короткой паузы, — возвращайся в крепость, командование ожидает твоего доклада. Держись подальше от основных дорог, в том районе замечены разьезды восточной армии, они могут представлять угрозу. Соблюдай осторожность.

Кристалл остыл, связь прервалась, и Айрин убрала его обратно в потайной карман, туда, где он лежал всегда, готовый к использованию в любой момент, готовый связать ее с крепостью, готовый передать приказ или донесение. Она бросила последний долгий взгляд на то, что осталось от Ясенового Лога, на эти обугленные руины, на эти разбросанные, остывающие тела, на этот пепел, который ветер уже начинал разносить по окрестностям, стирая последние следы того, что здесь когда-то жили люди, любили, страдали, мечтали. Она не знала этих людей, никогда здесь не была, не знала их имен и лиц, не знала их историй и судеб, и все же что-то внутри нее — глубоко-глубоко, почти незаметно, в том самом уголке души, который она считала давно умершим, давно атрофировавшимся, давно потерянным, — сжалось в тугую, болезненный комок, напоминая о том, что она все еще человек, что она все еще способна чувствовать. Она подавила это чувство, раздавила его, как учили в ордене, как делала это уже бесчисленное количество раз, и повернула на запад, туда, где за холмами и лесами, за реками и долинами, за бесконечными просторами ждала крепость, ставшая ее домом, ее пристанищем, ее тюрьмой.

Путь предстоял неблизкий — два дня пешком через дикие, малонаселенные земли, где легко было встретить и дикого зверя, и отряд противника, и нечто более опасное, чем то и другое вместе взятое, нечто, о чем ходили легенды, о чем шептались у костров, о чем не принято было говорить вслух. Айрин шла быстрым, размеренным шагом, не останавливаясь и не замедляясь, потому что ее учили экономить время и не тратить его на бесполезные привалы, потому что каждая минута промедления могла стоить жизни, потому что скорость часто была важнее силы. Лес вокруг был тихим, настороженным, словно сама природа замерла в ожидании чего-то ужасного, словно деревья и кусты, камни и ручьи чувствовали приближение беды, которая была больше, чем просто война, больше, чем просто смерть, больше, чем просто конец человеческой жизни. Ветви деревьев переплетались над головой, образуя мрачный, почти непроницаемый полог, сквозь который едва пробивался дневной свет, и от этого казалось, что идти приходится в вечных сумерках, в каком-то потустороннем, призрачном мире, где нет ни дня, ни ночи, ни времени, ни пространства, где все сливается в единое серое пятно.

Она думала о задании, о мародерах, о деревне, о том, что что-то в этой истории не сходится, что-то было неправильно, что-то не давало ей покоя, как заноза, засевшая глубоко под кожей, как осколок стекла, который невозможно вытащить. Наемники действительно редко уничтожали целые поселения без приказа, это было невыгодно, это было опасно, это привле-

кало ненужное внимание властей, это могло навлечь на них гнев тех, кто был сильнее. Грабить — да, убивать — случалось, особенно если жертвы сопротивлялись или если командир отряда был особенно жесток, но стирать деревню с лица земли, не оставляя даже пленных, не беря ничего, кроме того, что можно унести, — это было странно, неправильно, подозрительно, это противоречило самой природе наемничества. Словно они не просто хотели наживы, а выполняли чей-то приказ, чей-то план, чью-то волю, о которой сами, возможно, не знали, которую сами не понимали. Но чей? И зачем? Кому могла понадобиться эта деревня? Какой смысл был в ее уничтожении?

В ордене ее не учили задавать лишние вопросы, не учили сомневаться в приказах, не учили искать скрытые мотивы, не поощряли излишнюю любознательность. Ей давали задание — она его выполняла, быстро, точно, без лишних размышлений, без колебаний, без сомнений. Но Айрин всегда была любопытной, всегда хотела понять, всегда стремилась докопаться до истины, из-то любопытство не раз доводило ее до беды, не раз заставляло ее переступить границы дозволенного, не раз вызывало недовольство наставников, которые считали, что воин должен подчиняться, а не размышлять. Со временем она научилась скрывать его, как и многое другое, научилась быть идеальным инструментом — послушным, точным, бесстрастным, не задающим вопросов, не выражающим сомнений. Но внутри, под этой вышколенной оболочкой, под этой броней дисциплины и подчинения, под этой маской безразличия, все еще жила девочка, которая хотела знать, почему мир устроен так, а не иначе, почему люди убивают друг друга, почему она должна убивать, почему ее жизнь принадлежит не ей, а ордену, который воспитал ее, как воспитывают боевого пса, как выращивают оружие, как создают инструмент.

К вечеру первого дня пути она вышла к реке, которая лениво, неторопливо несла свои темные, почти черные воды через лес, огибая валуны и поваленные стволы, прокладывая себе путь сквозь тысячелетия. Здесь, на берегу, росли старые раскидистые ветлы, чьи длинные, гибкие ветви склонялись к самой воде, почти касаясь ее поверхности, образуя естественное укрытие, почти шатер, надежно скрывающий от посторонних глаз, от ветра, от дождя. Айрин решила остановиться здесь на ночь, потому что идти дальше в темноте было опасно, а силы, несмотря на кажущуюся бесконечность, были не безграничны, и тело требовало отдыха, требовало передышки, требовало хотя бы короткого сна. Она развела небольшой костер, стараясь, чтобы дым был как можно менее заметным, используя сухие ветки, которые почти не давали дыма, и села у огня, вытянув уставшие ноги и привалившись спиной к шершавому, теплому стволу старой ветлы.

Она сняла перчатки, кожаные, потертые, с металлическими вставками на костяшках, и отложила их в сторону. Ее руки были тонкими, но сильными, с длинными, изящными пальцами и коротко остриженными ногтями, не знавшими никаких украшений, кроме мозолей от постоянных тренировок с оружием. На левой ладони, прямо в центре, красовался шрам — неровный, похожий на паутину, расходящийся тонкими лучами от точки в самом центре, словно молния, застывшая в коже, словно трещина на льду, словно карта неведомых земель, начертанная невидимой рукой. Айрин не помнила, откуда он взялся, не помнила, как получила его, не помнила ничего из своего детства до того момента, как оказалась в ордене, до того момента, как начала новую жизнь. Сколько она себя помнила, шрам был всегда, был частью ее, как цвет волос, как цвет глаз, как магия, текущая в жилах, как ее способность убивать. В ордене говорили, что она получила его в детстве, до того как попала к ним, но это все, что им было известно, все, что они могли или хотели ей сказать, все, что они считали нужным ей сообщить.

Иногда шрам болел, тупо и ноюще, словно внутри него что-то жило, что-то шевелилось, что-то пыталось выбраться наружу. Иногда он чесался, как заживающая рана, как кожа, под которой растет новая плоть. А иногда — очень редко, может быть, раз в несколько месяцев, — он пульсировал, как сердце, как маленькое второе сердце, бьющееся в ладони, и это ощущение было самым странным и самым тревожным из всех. Именно это ощущение Айрин почувствовала сейчас, когда сидела у костра, глядя на пляшущее пламя и слушая, как ветер шелестит листьями над головой, как река шепчет свои древние песни, как ночь опускается на землю.

Она медленно перевела взгляд на ладонь и замерла, потому что шрам слабо светился, испуская едва заметное белое сияние, ритмичное, пульсирующее, как биение пульса, как дыхание спящего существа, как отблеск далекой звезды. Нет, ей не показалось, это было реально, это происходило на самом деле, это было физическое явление, которое невозможно было объяснить простым утомлением или игрой света, игрой воображения, обманом зрения. От шрама исходило это сияние, это странное, неземное свечение, которое, казалось, шло изнутри, из самой глубины ее существа, из того места, где таилась ее магия. Айрин сжала ладонь в кулак, и свечение погасло, исчезло, словно его и не было, но пульсация осталась — глубоко внутри, в кости, в крови, в самой сердцевине ее существа.

Она встала, подошла к реке и опустила руку в холодную воду, надеясь, что низкая температура поможет унять это странное ощущение, но пульсация не утихала, продолжая биться в ладони, как запертое в клетке сердце. Айрин закрыла глаза, пытаясь понять, что это такое, пытаясь проанализировать это ощущение, как ее учили анализировать любое новое явление. Раньше такого не было, никогда, ни разу за все шестнадцать лет, что она себя помнила. Шрам болел, иногда ныл перед бурей или в полнолуние, но никогда не светился и не пульсировал, как будто пытаясь ей что-то сказать, как будто пытаясь привлечь ее внимание к чему-то важному, чего она пока не понимала.

Что-то изменилось, и это изменение пугало ее больше, чем она готова была признать.

Она вытащила руку из воды и снова осмотрела шрам, внимательно, придирчиво, как осматривала бы рану незнакомца. Ничего нового — та же паутина, та же форма, те же линии, расходящиеся от центра. Но внутри что-то происходило, какая-то энергия, чуждая и одновременно пугающе знакомая, пробуждалась, ворочалась, искала выход, словно зверь, почуявший приближение весны после долгой зимы.

Айрин нахмурилась, и на ее гладком, юном лице проступила тонкая морщинка между бровями. Она не привыкла бояться, не позволяла себе этого чувства, считала его слабостью, недостойной воина ордена. Но сейчас, стоя в сгущающейся темноте у реки, с пульсирующим шрамом и непонятной, иррациональной тревогой, сжимающей грудь, она впервые за долгое, очень долгое время ощутила нечто, подозрительно похожее на страх. Это было непривычно, это было неправильно, это было... по-человечески, а она давно перестала считать себя полностью человеком.

Это чувство не ушло и к утру, сколько она ни пыталась от него избавиться, сколько ни убеждала себя, что это всего лишь усталость, всего лишь последствие трудного боя, всего лишь игра воображения. Айрин почти не спала — она сидела у догоревшего костра, завернувшись в плащ, прислушиваясь к ночным звукам и к собственному телу, которое вело себя так, словно готовилось к чему-то важному и страшному. Пульсация то затихала, то возобновлялась, словно прилив и отлив, словно дыхание неведомого существа, и каждый раз, когда она возвращалась,

Айрин казалось, что она слышит шепот — далекий, невнятный, на самой границе восприятия, на самом пределе слышимости. Она не могла разобрать слов, не могла понять, мужской это голос или женский, не могла даже с уверенностью сказать, что это вообще голос, а не игра воображения, но сам факт этого шепота пугал ее больше, чем любой враг, больше, чем целая армия, больше, чем сама смерть.

С первыми лучами рассвета, пробившимися сквозь листву, она продолжила путь, заставляя себя идти быстрее обычного, словно пытаясь убежать от того, что преследовало ее, хотя и знала, что от себя не убежишь. Лес постепенно редел, уступая место холмистой равнине, поросшей вереском и колючим кустарником, и идти стало легче, хотя ветер здесь был сильнее, и он постоянно трепал ее белые волосы, бросая их в лицо. Вдалеке, на горизонте, уже виднелись зубчатые стены крепости — серые, неприступные, вросшие в скальный массив, словно выросшие из самой горы, словно бывшие ее естественной частью, а не творением человеческих рук. Крепость ордена называлась Грозовой Утес, и это имя подходило ей как нельзя лучше, потому что она действительно была подобна утесу, о который разбиваются волны вражеских атак, а грозы над ней случались так часто, что это стало местной легендой. Она возвышалась над окрестностями, как страж, как часовой, как последний оплот цивилизации на границе с дикими, неосвоенными землями, откуда приходили только беды и войны.

Айрин шла по выжженной солнцем тропе, петляющей между холмами, и ветер, казалось, разговаривал с ней на языке, который она почти понимала, но не до конца. Она знала, что в крепости ее ждут, ждут с докладом, с оценкой, с новым заданием, потому что так было всегда, сколько она себя помнила, и так будет всегда, пока она дышит. Орден воспитывал воинов, и она была одной из лучших, одной из самых перспективных, одной из тех, кому прочили большое будущее — если, конечно, она выживет, если не сломается, если не погибнет в одном из бесчисленных заданий, которых у нее было уже больше, чем она могла сосчитать.

Шрам снова запульсировал, когда она подходила к воротам, и на этот раз пульсация была настолько сильной, что Айрин пришлось остановиться и переждать приступ, сжав ладонь в кулак и прижав ее к груди. Боль была уже не тупой, а острой, режущей, словно кто-то вонзал ей в ладонь раскаленную иглу и медленно проворачивал ее. Она стиснула зубы так сильно, что на скулах заиграли желваки, и сжала кулак до такой степени, что ногти впились в кожу, оставляя полукруглые следы. Через несколько бесконечно долгих секунд боль отступила, но осталась слабость, разлившаяся по всему телу, словно из нее выкачали силы, словно эта неведомая пульсация питалась ее жизненной энергией.

Она подняла голову и посмотрела на крепость, возвышающуюся перед ней во всем своем суровом величии. В окнах горел теплый, уютный свет, люди занимались своими повседневными делами, стража несла службу на стенах, и никто, абсолютно никто не знал, что с ней происходит, что происходит внутри нее, какая странная и пугающая перемена началась в ее теле и душе. И она не собиралась никому рассказывать об этом, потому что знала, чем это может обернуться. Орден не любил аномалий, не любил непонятного, не любил того, что нельзя было объяснить и контролировать.

Айрин сделала глубокий вдох, расправила плечи и пошла вперед, к воротам, которые медленно, со скрипом начали открываться перед ней, словно сама крепость приветствовала возвращение своей дочери. Она вступила в холодную, влажную тень крепостных стен, и этот переход от света к тьме показался ей символичным, словно она пересекала границу между миром живых и миром мертвых, между тем, что было, и тем, что будет. Здесь пахло камнем,

металлом и магией, и этот запах был знаком ей с детства, как запах дыма и пепла, как запах крови и пота, как запах дома, если у нее вообще когда-либо был дом. Он успокаивал, этот запах, или, по крайней мере, делал вид, что успокаивает, создавая иллюзию безопасности и стабильности в мире, где не было ни того, ни другого.

Стражник у ворот, молодой парень в серой форме ордена, кивнул ей, узнав, и в его глазах мелькнуло нечто, похожее на уважение, смешанное с легким страхом:

— С возвращением, Айрин. Командование уже спрашивало о тебе.

— Спасибо, — коротко ответила она, не останавливаясь, и направилась к лестнице, ведущей на верхние ярусы крепости, туда, где располагались жилые помещения младших офицеров.

Ее покои находились в западной башне, на шестом этаже, и представляли собой маленькую комнату с узким окном-бойницей, выходящим на запад, на бескрайние дикие земли, откуда она только что вернулась. В комнате были только самое необходимое: узкая кровать с жестким матрасом, грубо сколоченный письменный стол, деревянный стул и небольшой сундук для личных вещей, который был почти пуст. Большого ей и не требовалось, потому что она не любила роскошь, не понимала тяги к украшениям и красивым вещам, считала все это лишним грузом, который только мешает воину. В ордене учили, что воин должен быть свободен от привязанностей, от всего, что может ослабить его дух, от всего, что может стать слабостью, которую использует враг. Айрин усвоила этот урок лучше многих, возможно, потому что ей не от чего было отказываться, потому что у нее никогда ничего не было, кроме ордена и магии.

Она вошла в комнату, закрыла за собой тяжелую дубовую дверь, задвинула засов и, не раздеваясь, села на кровать, чувствуя, как усталость наваливается на нее всей своей тяжестью. Рука снова заболела, и Айрин медленно размотала тряпку, которой обмотала ладонь перед входом в крепость, чтобы скрыть возможное свечение. Шрам снова светился — на этот раз ярче, чем вчера, ярче, чем когда-либо прежде, и белое сияние пульсировало в такт ее сердцу, и в этом ритме было что-то гипнотическое, что-то завораживающее, что-то, от чего невозможно было отвести взгляд.

— Что ты такое? — прошептала Айрин, глядя на свою ладонь, и ее голос прозвучал в тишине комнаты, как голос незнакомки, как голос, идущий откуда-то из глубины, из того места, где жила ее магия.

Ответа не было, и она не ждала его. Только пульсация, только боль, только ощущение, что где-то далеко, за пределами крепости, за пределами земель людей, за пределами всего, что она знала и понимала, пробуждается нечто древнее и страшное, нечто, что спало тысячелетиями и теперь начинало открывать глаза. И это нечто звало ее, звало по имени, звало на языке, который она не понимала, но который отзывался в самой глубине ее существа, как отзывается струна на звук той же ноты.

Айрин прижала ладонь к груди, чувствуя, как бьется сердце — быстро, но ровно, как бьется сердце воина перед боем, не от страха, а от предвкушения. Она закрыла глаза и попыталась успокоиться, используя дыхательные техники, которым ее учили, пытаясь отпустить мысли, пытаясь погрузиться в сон. Но сон не шел, и она лежала с открытыми глазами, глядя в каменный потолок, по которому пробегали отсветы факелов, горящих в коридоре, и думала

о том, что ждет ее завтра. Нужно будет доложить командованию о выполненном задании, подробно и точно, как она делала это всегда. О мародерах, об их странном поведении, о том, что они действовали не как обычные наемники, а как исполнители чьего-то приказа. Но рассказывать о шраме она не станет, ни за что, ни при каких обстоятельствах. Это слишком личное, слишком странное, слишком опасное. Если орден узнает, что с ней что-то не так, ее могут отстранить от заданий, могут запереть в крепости, могут начать изучать, как подопытного зверя, и эта перспектива пугала ее больше, чем любые пытки.

Айрин не боялась смерти, потому что смерть была ее постоянной спутницей, ее ремеслом, ее предназначением. Она боялась стать чьим-то инструментом помимо своей воли, потерять контроль над собственной жизнью, превратиться в вещь, которую можно использовать и выбросить. Но, по правде говоря, она уже была инструментом, была им всегда, с того самого дня, как попала в орден. Инструментом ордена, послушным оружием, которое направляли туда, где нужно было убить, не объясняя причин и не спрашивая согласия. Пешкой в войне королевств, о которой ей не рассказывали, но в которой она участвовала, сама того не зная, исполняя чужую волю, чужой план, чужую стратегию.

Но все это было до того, как проснулся шрам. До того, как она начала слышать шепот. До того, как мир, который она знала, который она понимала, который она принимала как данность, начал трещать по швам, обнажая скрытые под ним бездны, о существовании которых она и не подозревала.

Она не знала, что это начало. Начало конца. Начало пути, который приведет ее к правде о собственном происхождении, к правде о древней силе, что течет в ее жилах вместе с кровью, к правде, способной уничтожить не только ее, но и весь мир, который она знала. Она не знала, что каждая пульсация шрама — это шаг навстречу судьбе, от которой невозможно уйти, как невозможно уйти от собственной тени. Она не знала, что шепот, который она слышит, — это голос, зовущий ее домой, туда, где началась ее история, туда, где закончится все.

Всё это случится позже, намного позже, через дни, недели, месяцы испытаний и открытий. А сейчас была ночь, тихая, холодная ночь в крепости Грозовой Утес, и Айрин, шестнадцатилетняя сирота с аномально белыми волосами и шрамом-паутиной на левой ладони, лежала в своей узкой, жесткой кровати и слушала, как бьется ее сердце, как пульсирует шрам, как ветер за окном поет свою бесконечную песню. И где-то в глубине этого биения, в глубине этой пульсации, в глубине этой песни слышался другой ритм — древний, как сами горы, терпеливый, как время, и неумолимый, как судьба. Что-то пробуждалось, где-то там, за гранью известного мира, и это пробуждение отзывалось в ее ладони, как эхо. И это нечто знало ее имя.

## Г

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.